

МИХАИЛ КОТ

КЛАСС, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Он появился на уроке.
Но его не было в журнале.

18+

Михаил Кот

Класс, которого не было

«Автор»

2026

Кот М.

Класс, которого не было / М. Кот — «Автор», 2026

Учитель литературы Егор Ланцов опаздывает на урок на семь минут — и видит за последней партой мальчика, которого нет в журнале. Его не замечает класс. Его не помнят взрослые. Но на парте остаётся зелёная тетрадь с именем ученика, умершего много лет назад. С этого дня школа начинает возвращать забытые голоса. Старые журналы меняют записи, закрытый кабинет 31 открывается снова, а прошлое требует не жалости, а правды. «Класс, которого не было» — мистический психологический роман о вине, памяти и детях, которых взрослые однажды не услышали.

© Кот М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТА	6
ГЛАВА ПЕРВАЯ	6
Мальчик с последней парты	6
ГЛАВА ВТОРАЯ	11
Саша Кораблёв	11
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	21
Мать, которая не приходила	21
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Михаил Кот

Класс, которого не было

ПРОЛОГ

В школьном архиве, между актами списания парт и журналами посещаемости, лежала папка без номера.

Интермедия. Первое правило

В чёрной тетради, которую ещё никто не нашёл, первая страница была исписана детским почерком. Там не было имён. Только правило: «Если взрослый солжёт в школе, запись в журнале изменится». Ниже, другой рукой, почти без нажима: «Если солжёт учитель — придёт ребёнок». Эту страницу потом будут читать много раз. Каждый раз Егор будет надеяться, что понял её неправильно. И каждый раз буквы будут темнеть, будто бумага уставала от его надежды.

На обложке не было ни печати, ни фамилии составителя. Только синяя нитка, давно вросшая в картон, и надпись карандашом: «Отсутствующие». Карандаш почти стёрся, но слово держалось упрямо, как держатся последние следы пальцев на стекле. Внутри были не дела. Не биографии. Не фотографии. Листы, на которых взрослые пытались сделать детей удобными для забвения: «выбыл», «не явился», «самовольно покинул», «переведён», «не подтверждено». Каждая формулировка была маленьким гробом, только без земли и цветов. Последняя страница оставалась пустой двадцать лет.

Потом однажды ночью на ней проступила строка: Егор Ланцов. Учитель.

И ниже, совсем мелко, будто рукой ребёнка, который не хотел будить взрослых: Проверить, умеет ли слышать.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мальчик с последней парты

В тот день Егор Ланцов опоздал на собственный урок на семь минут и всю оставшуюся жизнь потом думал, что именно эти семь минут ему и зачтутся. Не годы, проведённые в школе. Не тетради, исписанные чужими ошибками. Не родительские собрания, где матери плакали, отцы смотрели в пол, а дети за дверью ждали, будто у кабинета заседал суд. Не грамоты в рамке, не фотография на стенде «Лучшие педагоги района», не районные олимпиады, не открытые уроки, где он говорил о совести так уверенно, словно видел её собственными глазами. Нет.

Там, где всё записывается без помарок, ему, наверное, покажут только это: учитель литературы сидит в учительской, пьёт остывший чай и не идёт туда, где его ждут дети. Чай был крепкий, вчерашний, с металлическим привкусом термоса. За окном висело мутное ноябрьское утро. Снега ещё не было, но город уже приготовился к зиме: почернел, сжался, стал пахнуть мокрым железом, углём и дешёвым табаком из подъездов.

В учительской ругалась Тамара Ильинична.

— Я вас спрашиваю, Пётр Семёнович, это школа или решето? — говорила она завхозу и стучала карандашом по столу.

— В кабинете истории снова течёт. Прямо на карту. Ведро стоит под Северным Ледовитым океаном.

Дети уже шутят, что у нас там глобальное потепление. Учителя засмеялись. Слабо, коротко, без настоящей радости. Егор тоже улыбнулся, хотя смешного не нашёл. Он давно заметил: в школе смеются не потому, что смешно, а потому что иначе придётся молчать. А молчание в школе опаснее крика.

В нём сразу становится слышно всё лишнее: как батареи булькают ржавой водой, как за стеной кто-то шепчет в телефон, как в коридоре ребёнок старается не плакать громко. Звонок прозвенел в восемь тридцать. Егор посмотрел на часы и не встал. У него был десятый «Б». Литература. Тема урока, записанная в плане ещё вчера вечером: «Маленький человек и большая вина». Теперь эта тема казалась ему неприлично гладкой. Маленький человек. Большая вина. Красиво, удобно, годится для отчёта. Такими словами хорошо прикрывать всё, что не помещается в журнал.

— Егор Андреевич, — сказала Лида, молодая математичка, которая ещё приходила в школу с аккуратно уложенными волосами и верила, что порядок на столе помогает порядку в жизни.

— Вы же на урок?

— Иду, — сказал он.

Но не пошёл. Он допил чай. Закрутил крышку термоса. Переложил тетради из одной стопки в другую. Долго искал красную ручку, хотя она лежала перед ним. Потом открыл журнал, закрыл журнал, провёл ладонью по обложке, будто хотел стереть с неё невидимую пыль. Прошло семь минут. Когда он наконец вышел, коридор был пуст. Школа во время урока всегда казалась ему большим больным зверем, которого на сорок пять минут усыпили. За дверями кабинетов глухо звучали голоса. Где-то выводили мелом формулы. Где-то читали по ролям.

Где-то физик Берёзкин, как всегда, кричал: «Это не игрушки, это оборудование!» — и в ответ раздавался приглушённый смех. Егор шёл медленно. Последние годы он вообще всё

делал медленно: вставал, брился, говорил, проверял сочинения, сердился, прощал, жил. В нём будто поселился невидимый старик и заранее уставал от каждого движения. У двери кабинета литературы он остановился. За дверью было тихо. Это не понравилось ему сразу. Десятый «Б» никогда не молчал. Даже если бы в коридоре рухнула крыша, кто-нибудь в этом классе всё равно шуршал бы пакетом, шептался, смеялся в кулак или снимал происходящее на телефон.

Их тишина не была дисциплиной. Она была настороженностью. Егор открыл дверь. Класс сидел по местам. Все двадцать семь человек. Вернее, как понял Егор не сразу, двадцать восемь. Новый мальчик сидел за последней партой у окна. Сначала Егор увидел его и тут же сделал вид, что не увидел. Душа, желая сохранить порядок, умеет быстро накрывать невозможное первой попавшейся тряпкой. Перевели из другой школы. Секретарь забыла предупредить. Завуч не внесла фамилию в журнал. Бывает. Мальчик был худой, бледный, с тёмными волосами, слишком аккуратно зачёсанными набок.

На нём была школьная форма старого образца: серый пиджак, белая рубашка, чёрный галстук. Такую форму в седьмой школе не носили уже много лет. Руки у мальчика лежали на раскрытой тетради — маленькие, узкие, почти прозрачные. Егор поставил журнал на стол.

— Доброе утро.

— Доброе утро, — ответил класс.

Мальчик с последней парты молчал. Егор снял пальто, повесил его на спинку стула, открыл журнал и пробежал глазами список. Абрамова, Беляев, Власова, Гринёв, Ланцова, Климов, Ларионов... Двадцать семь фамилий. Никакого новенького. Он поднял глаза. Мальчик смотрел на него спокойно. Не вызывающе, не испуганно, не по-детски. Так смотрят люди, которые уже знают ответ и ждут, когда его наконец узнаешь ты.

— Извините за опоздание, — сказал Егор, обращаясь ко всем сразу.

— Открываем тетради. Записываем число и тему.

Он повернулся к доске и взял мел. Мел был влажный. Оставлял не белую линию, а серый след, будто доска не хотела принимать слова. Егор написал: Маленький человек и большая вина. Пока он писал, ему почудилось, что кто-то за спиной тихо выдохнул. Не вздохнул даже, а именно выдохнул — как выдыхают после долгого ожидания. Он обернулся.

— Начнём с простого. Кто такой маленький человек в литературе? Руки не поднял никто. Обычно он ждал. Умел ждать. Учитель, который не умеет ждать, обречён отвечать на собственные вопросы и к концу жизни становится похож на радиоприёмник: говорит правильно, но никто уже не слушает. Однако сегодня тишина была другой. Она не ленивой была, не подростковой и не наглой. Она будто заранее знала, что произойдёт нечто неприятное. С первой парты подняла руку Ника Ланцова, его дочь и отличница с лицом маленького прокурора.

— Ну... это когда человек маленький не ростом. Когда его просто не считают человеком.

— Нормально, — сказал Егор.

— Только не как с сайта. Своими словами, Ника.

Ника обиделась.

— Да это мои.

— Значит, интернет теперь под тебя пишет.

Класс осторожно засмеялся. Только мальчик с последней парты не улыбнулся.

— А ребёнок может быть маленьким человеком? — спросил он.

Голос у него был тихий. Даже слишком тихий для класса. Но Егор услышал его ясно, как слышат ночью каплю воды в раковине. Он посмотрел на мальчика.

— Может, — сказал Егор после паузы.

— А если его слышали, но сделали вид, что нет?

Смех оборвался. Егор ощутил раздражение. Не сильное, но спасительное. Раздражаться было легче, чем пугаться.

— Назовись.

— Зачем?

— Потому что я тебя не знаю.

— Знаете.

— Не думаю.

— Просто забыли. Несколько учеников переглянулись.

Кто-то на задней парте тихо фыркнул — не от веселья, а от неловкости. Егор заметил, что почти никто не смотрит на мальчика. Все смотрят на него, на Егора.

— После урока — к завучу, — сказал он.

— Я уже заходил.

— И?

— Она меня не увидела.

По классу прошёл шорох. Бумага, рукава, стулья. Так шуршат листья перед грозой. Егор снова открыл журнал. Палец его задержался на пустом месте после фамилии Ларионов. Он не знал, зачем ищет там лишнюю строчку. Лишние строчки не появляются в журналах. В журналах вообще появляется только то, что кому-то выгодно записать.

— Хватит, — сказал он.

— Потом разберёмся. Сейчас урок.

Он хотел продолжить объяснение, но мысль не держалась. Слова рассыпались раньше, чем он успевал произнести их. Маленький человек, большая вина, социальная несправедливость, нравственный конфликт — все эти привычные кирпичики урока вдруг стали мёртвыми, пустыми внутри. Мальчик снова опустил голову и начал писать. Писал он очень старательно, не по-детски. Перо — нет, конечно, не перо, обычная синяя ручка — двигалось ровно, с какой-то взрослой, почти судебной неторопливостью.

— Что вы пишете? — спросил Егор.

— Сочинение.

— На какую тему?

Мальчик поднял тетрадь так, чтобы Егор мог прочитать первую строку. Почерк был красивый: крупный, наклонённый вправо, с длинными хвостами букв. Почему взрослые делают вид, что дети не умирают? За окном в этот миг с крыши сорвался пласт мокрого снега. Он рухнул вниз тяжело, глухо, словно кто-то большой упал с высоты. Девочка у окна вздрогнула. Егор смотрел на строку в тетради. Он должен был рассердиться по-настоящему. Это было бы правильно. Сказать: «Уберите немедленно». Поставить замечание. Отправить к директору. Вернуть мир на место.

Взрослые часто ставят мир на место, даже если само место давно прогнило. Но он спросил:

— С чего такая тема? Мальчик посмотрел в окно. Там, за мутным стеклом, школьный двор лежал серый и пустой. У забора стояла старая берёза, которую каждый год обещали спилить и каждый год забывали. На одной из нижних веток болтался чей-то потерянный красный шарф.

— Потому что другой вы мне не дали, — сказал мальчик.

Егор почувствовал, как холодеют пальцы.

— Я?

— Да.

— Когда?

— Двадцать лет назад.

Кто-то в классе прошептал:

— Что за бред?

— Тихо, — сказал Егор.

Голос у него вышел резким. Сам он этого не ожидал. Мальчик продолжал смотреть в окно. Лицо его в боковом свете казалось совсем детским: тонкая шея, острый подбородок, тень под глазами. И вдруг Егор понял, что принял его за старшеклассника только потому, что невозможное на несколько минут договорилось с его зрением. На самом деле мальчику было лет одиннадцать. Может быть, двенадцать. Не больше.

— Как вас зовут? — спросил Егор.

Мальчик закрыл тетрадь.

— Саша. Имя упало в память, как камень в старый колодец. Сначала Егор ничего не услышал — только долгий внутренний полёт, стук о влажные стены, тёмную глубину. Потом внизу, там, куда он не заглядывал много лет, отозвалась вода. Саша. Нет. Не может быть. Таких Саш в школе были десятки. Кораблёвы, Карповы, Кузнецовы, Кирилловы. Саша — не имя даже, а школьный шум, выкрик на перемене, надпись на парте, забытая шапка в раздевалке. Нельзя испугаться одного только имени.

— Фамилия? — спросил он.

Мальчик повернулся к нему.

— Кораблёв.

Егор взялся за край стола. Саша Кораблёв умер в ноябре две тысячи шестого года. Ему было одиннадцать. Тогда Егор только пришёл в школу после института. Носил коричневый пиджак с блестящими локтями, писал планы уроков от руки, верил в литературу как в спасение и думал, что если правильно подобрать слова, ребёнка можно удержать над пропастью. Саша сидел за последней партой у окна. Он плохо читал вслух, потому что заикался на согласных.

Зато в сочинениях у него иногда появлялись такие фразы, после которых Егор ставил на полях восклицательный знак и долго не мог понять, откуда в тихом худом мальчике столько взрослой тоски. Однажды Саша написал: «Мама говорит, что люди добрые, только когда им ничего не надо». Егор тогда подчеркнул фразу красной ручкой и подписал: «Интересное наблюдение, но слишком мрачно». Слишком мрачно. Он вспомнил это вдруг с омерзительной точностью.

— Это не смешно, — сказал Егор.

— Я знаю.

— Кто вас подговорил?

— Никто.

— Откуда вы знаете это имя?

— Оно моё.

— Нет.

— Да. Простота его ответов была невыносима.

Он не доказывал, не оправдывался, не просил верить. Он говорил так, как говорят те, кому уже не важно, убедят они живых или нет. Егор сделал шаг к последней парте. Класс следил за ним. Теперь он ясно видел: следили именно за ним. Не за мальчиком. За учителем, который медленно идёт к пустому месту.

— Егор Андреевич, — тихо сказала Ника Ланцова, — вы кому?

Он остановился.

— Что?

— Вы с кем разговариваете? В классе стало так тихо, что слышно было, как за стеной в соседнем кабинете учительница английского произносит: «London is the capital...» — и класс за ней лениво повторяет.

Егор повернулся к последней парте. Мальчик сидел там. Совершенно ясно. Совершенно невозможно. Сложив руки на тетради. С тёмными волосами, серым пиджаком, чёрным галстуком. На мгновение Егору показалось, что воздух вокруг него чуть темнее, чем в остальном классе, как будто день не до конца мог осветить это место.

— Вы его не видите? — спросил Егор.

Никто не ответил. Это молчание было хуже ответа. Мальчик улыбнулся. Едва заметно. Без радости.

— Они и тогда не видели, — сказал он.

Егор подошёл ближе.

— Встань, — сказал он уже не «вы», а «ты».

Мальчик встал. Он оказался маленьким. Ниже парты почти на голову. Рукава пиджака были ему коротки, будто форма сохранилась с того дня, когда он вырос бы, но не вырос.

— Что тебе нужно? — спросил Егор.

Мальчик долго смотрел на него.

— Урок.

— Какой урок?

— Последний.

Егор хотел взять его за плечо. Не для того, чтобы удержать. Чтобы доказать себе, что плечо существует. Что это не приступ, не сон, не позорное начало безумия перед целым классом. Но рука не поднялась. Вместо этого он спросил:

— Почему ты пришёл ко мне?

— Вы обещали.

— Что?

— Выслушать. И тут прозвенел звонок. Обычный школьный звонок. Резкий, противный, освобождающий. От него всегда дёргались новенькие, вздыхали учителя и оживала школа, будто кто-то снова включал электричество в огромном здании. Дети сразу зашевелились. Стулья заскрипели, тетради закрылись, кто-то судорожно засмеялся. Мир с благодарностью бросился обратно в привычный шум.

— Сидим, — сказал Егор.

— Звонок ещё не спасает. Но его уже почти не слушали.

Он обернулся к двери — только на секунду, чтобы закрыть её. На одну секунду. Этого хватило. Когда он снова посмотрел на последнюю парту, мальчика там не было. Стул стоял ровно. За окном качался красный шарф на берёзе. На парте лежала тетрадь. Егор подошёл и взял её. Обложка была тонкая, зелёная, советского ещё образца, с белым прямоугольником для подписи. Бумага пахла сыростью и старым шкафом. В правом верхнем углу, аккуратным детским почерком, было написано: Кораблёв Александр. 5 «Б». Егор открыл первую страницу. Там было всего две строки.

Егор Андреевич, вы обещали меня выслушать. Ниже стояла дата: 14 ноября 2006 года. День, когда Саша Кораблёв умер.

— Егор Андреевич, — позвала Ника Ланцова уже почти шёпотом.

Он поднял глаза. Класс стоял у парт. Никто не уходил. Двадцать семь живых детей смотрели на него так, будто он только что открыл дверь, за которой не должно было быть ничего, кроме стены.

— Это чья тетрадь? — спросила Ника.

Егор хотел ответить. Но в этот момент на последней странице, которую он ещё не открывал, чернила начали проступать сами собой. Медленно. Буква за буквой. Не ставьте мне снова незначёт.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Саша Кораблёв

Страница, которой не хватало

Перед тем как закрыть архив, Егор заметил под ножкой стеллажа тонкий, почти серый уголок бумаги. Лист был так плотно вдавлен в пыль, будто его не потеряли, а спрятали ногой. Он поднял его и сразу узнал красные чернила: свои. «Слишком мрачно», — было написано на полях. Ниже шла детская фраза Саши: «Если взрослому неудобно слушать, он называет это мрачным». На обороте стояла короткая запись: «После шестого урока. Кабинет литературы. Егор Андреевич обещал». Егор несколько секунд не мог дышать. Вина вдруг перестала быть философским словом.

Она стала расписанием, временем, дверью, к которой ребёнок пришёл и у которой не дождался никого.

После звонка дети ещё почти минуту не расходились. Это была странная минута: урок уже кончился, перемена началась, за дверью ожил коридор, кто-то бегал, кто-то кричал, кто-то смеялся, как смеются только в школе — громко, с облегчением, будто сам звонок выдал разрешение на жизнь. А в кабинете литературы стояло молчание. Двадцать семь учеников смотрели на Егора Ланцова. Не на последнюю парту. Не на тетрадь. На него.

Он стоял между доской и окном, держа в руках зелёную ученическую тетрадь, и вдруг остро, до стыда, почувствовал, как нелепо выглядит. Взрослый мужчина, учитель, человек с высшей категорией, с грамотами, с аккуратным почерком в журнале, с привычкой говорить о нравственном выборе, стоит перед классом бледный, как двоечник у доски, и не знает, что сказать. На последней странице тетради темнели свежие слова: Не ставьте мне снова незачёт. Чернила блестели. Они были ещё влажными. Егор осторожно коснулся строки пальцем. На подушечке остался синий след.

В этот миг Глеб Ларионов, длинный мальчишка с вечным выражением человека, которому всё происходящее кажется материалом для смешного видео, тихо поднял телефон.

— Убери, — сказал Егор.

Глеб вздрогнул.

— Я просто...

— Убери.

Голос вышел не громкий, но такой, что Глеб послушался сразу. Ника Ланцова стояла у первой парты, не собирая вещи. Её аккуратная тетрадь лежала открытая, ручка была положена строго по диагонали, как маленькое школьное копьё. Девочка смотрела на зелёную тетрадь в руках учителя.

— Можно? — спросила она.

— Что?

— Посмотреть.

Егор хотел сказать: «Нет». Даже уже почувствовал это короткое, взрослое, спасительное слово на языке. Но понял, что если скажет «нет», то навсегда останется один на один с тем, чего сам не понимает.

Он положил тетрадь на первую парту. Ника наклонилась. Не взяла в руки — только посмотрела. За её плечом тут же выросли ещё две головы. Потом третья. Остальные стояли дальше, будто боялись приблизиться, но и уйти не могли.

— Это не наша, — сказала Ника.

— Я знаю.

— Она старая.

— Вижу.

— А мальчика не было.

Егор поднял на неё глаза.

— Какого мальчика? Вопрос прозвучал глупо.

Ника даже не стала делать вид, что не заметила этого.

— Того, с кем вы разговаривали.

Класс зашевелился. Кто-то тихо засмеялся и тут же замолчал.

— Вы его не видели? — спросил Егор.

Ника не ответила сразу. В этом была её жестокая детская честность: она не хотела лгать, но и жалеть его не собиралась.

— Мы видели, что вы смотрите на последнюю парту, — сказала она.

— И говорите. А там никого не было.

— Тетрадь там была?

— Нет.

— А потом?

Ника сглотнула.

— Потом была. Это сказанное «потом была» оказалось страшнее любых криков. В нём не было ни фантазии, ни школьной игры, ни желания напугать. Просто факт. Сначала не было. Потом была.

Егор закрыл тетрадь.

— Все на перемену, — сказал он.

Никто не двинулся.

— Сейчас.

Дети медленно начали собираться. Стулья скрипели особенно громко. Рюкзаки застёгивались, пеналы падали, телефоны исчезали в карманах. Всё это были обычные школьные звуки, но после случившегося они казались неприличными, как разговоры о погоде у постели умирающего. У двери Ника Ланцова остановилась.

— Егор Андреевич.

— Что?

— Вы его правда знали?

Он посмотрел на последнюю парту. Стул стоял ровно. На столешнице виднелась старая царапина: кто-то когда-то вырезал ножом букву «С», но не закончил. Может быть, это было давно. Может быть, только что.

— Похоже, да, — сказал Егор.

— Кажется?

— Иди, Ника.

Она вышла последней. Егор закрыл дверь на ключ. И только тогда сел. Не за учительский стол — на ближайший ученический стул, как садятся люди, которым внезапно стало некуда девать собственное тело. Зелёная тетрадь лежала перед ним. Он не хотел её открывать. Он хотел, чтобы сейчас постучали, вошла Тамара Ильинична, сказала что-нибудь неприятное про дисциплину, про жалобу родителей, про план воспитательной работы, и всё это снова стало бы обычной школьной бедой, с которой можно спорить, сердиться, писать объяснительную. Но никто не стучал. Тетрадь лежала тихо. Егор открыл её снова.

На первой странице: Кораблёв Александр. 5 «Б». На второй — пусто. На третьей — пусто. Бумага была пожелтевшая, с серыми точками, словно её много лет держали в сыром месте. Между страницами прилипла тонкая пыль. Не театральная, не мистическая, а самая простая пыль старого шкафа, которую ничем не подделать. Он перелистал до последней страницы. Не ставьте мне снова незачёт. Слово «снова» было самым страшным. Потому что оно требовало

памяти. Егор не помнил. Вернее, помнил не то. Помнил коричневый пиджак, который тогда считал почти элегантным. Помнил свою первую учительскую тетрадь в твёрдой обложке.

Помнил, как ходил по коридору быстро, с молодым высокомерием человека, уверенного, что он пришёл спасать мир, а мир только и ждал его диплома. Помнил запах мокрых пальто в раздевалке. Помнил ученика с фамилией Кораблёв. Худого. Тихого. С заиканием. Но не помнил незачёта. А должен был. В дверь постучали. Егор вздрогнул так резко, что тетрадь сдвинулась по парте.

— Егор Андреевич, откройте, — сказала Тамара Ильинична.

Он спрятал тетрадь в ящик учительского стола и только потом повернул ключ. Директриса вошла без приглашения. Она всегда входила так, будто любое помещение школы было продолжением её собственного тела. Маленькая, сухая, с причёской, не меняющейся с тех времён, когда в коридорах ещё висели стенды с выцветшими пионерами,

Тамара Ильинична умела занимать собой больше места, чем ей полагалось по росту. За ней заглянула Лида-математичка, но директриса бросила на неё взгляд, и та исчезла.

— Что у вас тут было? — спросила Тамара Ильинична.

— Урок, — сказал Егор.

— Не начинайте этот тон.

— Каким?

— Вот таким. Тихим. Я его двадцать лет слышу: чем тише человек говорит, тем громче потом разгрести.

Егор вдруг устал.

— Что вам сказали?

— Мне сказали, что вы разговаривали с пустой партой.

— Кто сказал?

— Дети.

— Все?

— Достаточно, чтобы я пришла.

Она прошла по классу, остановилась у последней парты и посмотрела на стул. Потом на столешницу. Потом на Егора.

— Вы плохо себя чувствуете?

— Нет.

— Давление?

— Нет.

— У вас были... ну... галлюцинации? — она поморщилась, будто слово было грязным.

Егор усмехнулся.

— А завхозу вы так говорите, когда он деньги на ремонт крыши видит?

— Егор Андреевич.

— Извините.

Она не улыбнулась.

— Я серьёзно. Если вам нужен день отдыха, мы найдём замену. Если нужна помощь...

— Дайте архив.

Тамара Ильинична моргнула.

— Что?

— Две тысячи шестой. Пятый «Б». Дело Саши Кораблёва. В кабинете сразу стало холоднее. Не физически, конечно. Батареи продолжали булькать, за окном кто-то грохнул дверь, коридор шумел. Но лицо директрисы изменилось так быстро, что Егор понял: он попал не в прошлое, а в запрет.

— Зачем? — спросила она.

— Хочу посмотреть.

- На каком основании?
- Потому что я его помню.
- Поздновато.

Слово сорвалось у неё само. Тамара Ильинична тут же сжала губы, будто хотела поймать его обратно, но было уже поздно.

- Значит, вы тоже помните, — сказал Егор.
- Я всех помню, кто через эту школу прошёл.
- Неправда.
- Что?
- Нет. Никто всех не помнит. Мы просто делаем вид.

Она подошла ближе.

— Послушайте. Сегодня у вас был срыв. Я пока называю это так, потому что другое слово хуже. Вы устали, Егор Андреевич.

Дети нервные, родители ещё хуже. Не надо поднимать школу на уши из-за старой истории.

- Какой истории?

Она замолчала.

- Тамара Ильинична, — сказал Егор, — какой истории?

Директриса посмотрела на дверь, словно боялась, что за ней стоит весь город.

- Мальчик умер, — сказала она.
- Да, беда. Но школа здесь ни при чём.
- А чья?
- Его семьи.
- Удобно.
- Осторожнее.
- Почему?
- Потому что не надо таскать мёртвых, когда самому плохо спится.

Егор хотел ответить, но не нашёл слов. Фраза была отвратительно правильной. Тамара Ильинична вообще умела говорить правильные вещи в такие минуты, когда правдой они уже не были.

- Архив, — повторил он.
- Документы просто так не дают.
- Тогда пойдёмте вместе.

Она долго смотрела на него. Потом сказала:

- После пятого урока.
- Сейчас.
- У меня совещание.
- У меня на парте лежит тетрадь мёртвого ученика.

Он сам удивился, что сказал это вслух. Тамара Ильинична побледнела. Не как человек, который поверил в призрака. Как человек, который всю жизнь боялся, что однажды кто-то произнесёт нужную фразу не в нужном месте.

- Где тетрадь? — спросила она.
- Какая?
- Не играйте со мной. Теперь уже она говорила тихо.

Егор понял: показывать нельзя. Если он покажет, тетрадь исчезнет в сейфе, в мусорном пакете, в огне, в чьём-то «так положено». В школе всё умело исчезать правильно: заявления, жалобы, медицинские справки, слёзы, синяки, детские страхи. Оставались только отчёты, журналы и протоколы педсоветов.

- Нет никакой тетради, — сказал он.

Директриса усмехнулась.

— Значит, всё-таки срыв.

— Значит, архив.

Они спустились в подвал через служебную лестницу. Этой лестницей ученикам пользоваться запрещалось, и потому она всегда казалась более настоящей, чем парадные пролёты: стены там были ободраны, перила липкие от старой краски, лампочка моргала, а на нижней площадке пахло сыростью, мышами и хлоркой. Где-то за стеной шумела вода в трубах. Школа снизу была похожа не на храм знаний, как любили говорить на линейках, а на больное тело с открытыми внутренностями. Архив помещался в бывшей кладовой.

На двери висела табличка «Посторонним вход воспрещён», написанная таким строгим шрифтом, будто за ней хранились государственные тайны. На самом деле там стояли ржавые металлические шкафы, связки списанных учебников, коробки с ёлочными игрушками, старые стенды, сломанный глобус и портреты писателей, которых сняли после ремонта и забыли повесить обратно.

Пушкин лежал лицом к стене. Гоголь был завернут в газету. Достоевский смотрел из-под слоя пыли с таким выражением, будто всё это давно предвидел.

— Свет опять не работает, — сказала Тамара Ильинична.

Она достала из кармана телефон и включила фонарик. Луч света прошёл по коробкам. На одной было написано: «Личные дела. 2005-2007». На другой: «Журналы. Начальная школа». На третьей: «Списать». Слово это показалось Егору главным словом школьной жизни. Списать крышу. Списать ребёнка. Списать вину. Списать на семью. На район. На время. На трудный возраст. На несчастный случай.

— Здесь, — сказала директриса.

Она опустила на корточки и попыталась вытянуть тяжёлую коробку. Егор помог. Картон надорвался, из щели посыпалась сухая серая пыль.

— Осторожно, — сказала она.

— С бумагами?

— С тем, что в них лежит. Эта фраза была неожиданно живой.

Егор посмотрел на неё, но Тамара Ильинична уже делала вид, что ничего не сказала. Они поставили коробку на старый стол. Внутри лежали папки, перевязанные бечёвкой. На каждой — фамилии, годы, классы. Егор перебирал их медленно, боясь найти нужную и боясь не найти. Каменев. Киселёва. Климова. Князев. Кораблёв. Папка оказалась тонкой. Слишком тонкой для человеческой жизни.

Егор развязал бечёвку. Первым лежало заявление о приёме в школу. Детский медицинский лист. Копия свидетельства о рождении. Характеристика из начальной школы: «спокойный, малообщительный, в коллективе держится обособленно, к фантазированию склонен». Слово «фантазированию» было подчеркнуто красным карандашом.

— Кто подчеркнул? — спросил Егор.

— Не знаю.

— Вы.

— Не помню.

Он перелистнул дальше. Фотографии не было. В правом верхнем углу первого листа остались только четыре коричневых пятна от клея. Пустой прямоугольник смотрел на него страшнее любого лица.

— Где фотография?

— Откуда я знаю? За двадцать лет всё могло отклеиться.

— Отклеиться и сама ушла?

— Не начинайте.

Егор взял следующий лист. Справка. Дата: 16 ноября 2006 года. Формулировка была сухая, казённая, бесстыдно короткая. «Выбыл из состава обучающихся в связи со смертью». В связи со смертью. Как будто смерть была уважительной причиной для пропуска уроков. Подпись директора. Печать. Ниже — подпись молодой тогда Тамары Ильиничны, завуча по воспитательной работе. Егор долго смотрел на эту подпись.

— Вы оформляли?

— Я была завучем.

— Быстро оформили.

— Так положено было.

— У вас порядок всегда появляется, когда надо кого-то быстро убрать.

Она резко закрыла папку ладонью.

— Не надо делать вид, что совесть только у вас сегодня проснулась. Вы тоже здесь были. Не я одна. Эти слова ударили точнее, чем она рассчитывала.

Егор молчал. Да. Он был здесь. Молодой, умный, чистый, как ему казалось. Читал детям о сострадании. Говорил, что равнодушие страшнее жестокости. Ставил оценки. Ходил на педсоветы. Подписывал планы. И был здесь.

— Журнал, — сказал он.

— Какой ещё журнал?

— Пятый «Б». Литература. Ноябрь две тысячи шестого.

— Вы тогда не вели у них постоянно.

— Замещал Маргариту Павловну.

— И что?

— Хочу посмотреть.

Она не спорила. Только устало сняла с другой полки связку старых журналов. Журналы пахли пылью, чернилами и детским страхом. У каждого была синяя обложка, углы распухли от времени, страницы пожелтели. Егор провёл пальцем по корешкам: 5 «А», 5 «Б», 5 «Б». Он открыл нужный. Фамилии стояли ровными рядами. Против каждой — клетки, даты, оценки, пропуска. Маленькая бухгалтерия живых душ. Кораблёв Александр. Егор нашёл его не сразу, хотя фамилия была перед глазами. Вот она: между Князевой и Костровым. Аккуратные двойки по математике. Четвёрка по рисованию. Пропуска без уважительной причины. По литературе — пустые клетки до ноября.

Десятое ноября: «3». Двенадцатое ноября: «2». Четырнадцатое ноября: «н/з». Незачёт. Запись была сделана красной ручкой. Егор узнал свой почерк. Он всегда выводил букву «з» слишком резко, будто царапал бумагу. Мир сузился до одной клетки в старом журнале. Н/з. Три знака. Полсекунды движения руки. Учительская власть, которой он тогда даже не понимал. И за этой клеткой — мёртвый мальчик, зелёная тетрадь, пустое место от фотографии, дата, от которой до сих пор шла сырость.

— За что? — спросил он.

Тамара Ильинична молчала.

— За что я поставил ему незачёт?

— Откуда мне знать? Но она знала, что он не у неё спрашивает.

Егор перелистнул страницы журнала назад, потом вперёд. В графе «Содержание урока» за четырнадцатое ноября была записана тема: Сочинение-рассуждение «Добрый человек в моей жизни». Добрый человек. Егор закрыл глаза. И память, словно недовольная служанка, которой слишком долго приказывали молчать, вдруг открыла дверь.

Класс. Пятый «Б». Ноябрь. Мокрые варежки на батарее. Дети пишут, склонившись над тетрадями. У Саши Кораблёва ручка лежит неподвижно. Он смотрит в окно. Егор подходит к нему молодой, раздражённый, потому что урок показательный, после него надо бежать к директору, в школе комиссия, всё не вовремя.

— Почему не пишешь? Саша поднимает голову.

— Я не знаю доброго человека. В классе кто-то смеётся.

Егор, конечно, не даёт смеяться. Он стучит по парте, говорит: «Тихо». Он даже, кажется, наклоняется к Саше мягче, чем к другим.

— Не бывает так, чтобы не было ни одного.

— Бывает.

— Подумай.

— Я подумал.

— Напиши о маме. Саша молчит.

— О бабушке. Молчит.

— О соседе, учителе, враче, о ком угодно. Тема простая. И тогда Саша начинает писать. Пишет быстро. Слишком быстро для ребёнка, который только что говорил, что не знает, о чём писать.

Егор помнит, как в конце урока собрал тетради. Помнит, что Саша не отдал свою сразу. Прижал к груди.

— Кораблёв, тетрадь.

— Можно я вам потом отдам?

— Сейчас.

— Там не про доброго человека.

— Значит, незачёт.

Он сказал это легко. Почти шутя. Как говорят учителя, когда торопятся. Саша отдал тетрадь.

После урока мальчик стоял у двери.

— Егор Андреевич, можно я после шестого приду? Вы обещаете?

— Что?

— Выслушать.

— Приходи после шестого.

— Точно?

— Точно. И Егор ушёл. Потому что его позвали в кабинет директора. Потому что была комиссия. Потому что надо было говорить о духовно-нравственном воспитании. Потому что взрослые всегда находят дело важнее ребёнка, который стоит в коридоре и держит в руках зелёную тетрадь. Он не вернулся после шестого. Не вспомнил. До сегодняшнего дня.

— Егор Андреевич, — сказала Тамара Ильинична.

Он открыл глаза. Архив плыл перед ним в тусклом свете телефонного фонарика. Пыль кружилась в воздухе, как мелкие насекомые. На столе лежал журнал, открытый на клетке с его красным «н/з».

— Мне нужна та тетрадь, — сказал он.

— Какая?

— Сочинение.

— Вы с ума сошли? Какие сочинения через двадцать лет?

— Где они могли храниться?

— Нигде. Их выбрасывают.

— Не все.

Она отвела глаза. Егор заметил.

— Тамара Ильинична.

— Нет.

— Что нет?

— Не надо туда.

— Куда?

Она выключила фонарик. Архив на секунду утонул в темноте. Потом она снова включила свет и сказала уже не директорским голосом, а человеческим, старым:

— В методическом шкафу иногда оставались работы. Маргарита Павловна всё собирала. Детские сочинения, рисунки, открытки. Говорила, что это память школы.

— Шкаф где?

— В старой лаборантской.

— Ключ?

— У меня.

— Пойдёмте.

— Вы не понимаете, что делаете.

— Понимаю впервые за много лет.

Она посмотрела на него с чем-то похожим на жалость.

— Нет, Егор Андреевич. Пока нет.

— Почему?

— Потому что если вы начнёте вспоминать Сашу, вам придётся вспомнить не только его. Эта фраза повисла между ними. Где-то наверху прозвенел звонок на следующий урок. Через вентиляционную решётку донёсся топот. Школа продолжала жить, не зная или делая вид, что не знает, что внизу двое взрослых стоят над старым журналом, как над могилой.

— Сколько их было? — спросил Егор.

Тамара Ильинична закрыла журнал.

— У вас урок.

— Сколько?

— У всех нас урок, — сказала она.

— Всю жизнь. Только большинство получает незачёт и даже не узнаёт об этом.

Она взяла папку Кораблёва и журнал.

— Я должна вернуть документы на место.

— Я ещё не закончил.

— На сегодня закончили.

Она говорила снова как директор. Егор понял: сейчас она спрячет всё. Может быть, не уничтожит. Не Тамара Ильинична. Она была не из тех, кто рвёт бумагу руками. Она просто положит папку туда, где её уже не найдёшь без разрешения. А разрешение в школе всегда выдаётся тем, кто не задаёт вопросов. Он сделал то, чего сам от себя не ожидал. Пока она перевязывала бечёвкой папки, он тихо вынул из журнала сложенный пополам лист, который лежал между страницами у ноября. Лист был тонкий, желтоватый. Должно быть, его когда-то вложили туда как закладку. Тамара Ильинична не заметила.

Егор сунул лист во внутренний карман пиджака. Украл. Слово было неприятным, но точным. Может быть, именно с этого и начинается правда: человек впервые перестаёт быть приличным. Они вышли из архива молча. На лестнице Тамара Ильинична остановилась.

— Егор Андреевич.

Он обернулся.

— Тетрадь, если она существует, отдайте мне.

— Зачем?

— Потому что дети не должны видеть такие вещи.

— Дети уже видели больше, чем мы думаем.

— Вы опять красиво говорите.

— А вы опять закрываете дверь.

Она устало провела рукой по лицу.

— Я закрывала много дверей. Иногда за дверью было хуже.

— А иногда там был ребёнок. На этот раз она не ответила. До конца дня Егор провёл ещё три урока. Вернее, присутствовал на них. Говорил что-то о героях, о композиции, о проблематике, задавал вопросы, ставил галочки в журнале. Ученики отвечали. Кто-то не выучил. Кто-то прочитал по диагонали. Кто-то спросил, можно ли выйти. Мир старательно изображал себя прежним. Но каждый раз, когда Егор поворачивался к доске, ему казалось, что за последней партой снова кто-то сидит. Там никого не было. Именно это было невыносимо. После шестого урока он остался в кабинете один.

Слова «после шестого» теперь звенели в нём, как неисправная лампа. Он запер дверь, достал из ящика зелёную тетрадь, а из кармана — украденный лист. Лист оказался страницей из старой ученической работы. Почерк был детский, неровный, с ошибками. Вверху красной ручкой стояло: «Тема не раскрыта. Н/з». Ниже — подпись, его подпись, молодая, самоуверенная, слишком размашистая. Егор начал читать. «Добрый человек — это такой человек, который не уходит, когда его просят остаться. Я не знаю, как его зовут, потому что я такого человека не встречал. Может быть, он есть в книгах.

В книгах все сначала страдают, а потом кто-нибудь приходит и говорит: не бойся. А у нас если боишься, то все говорят: не выдумывай. Я не хочу писать про маму, потому что мама хорошая, когда спит. Когда она спит, она не плачет и не просит меня быть тихим.

Я не хочу писать про взрослых, потому что взрослые всегда спешат. Они говорят: потом. А потом бывает поздно. Если бы был добрый человек, я бы попросил его не ставить мне незачёт. Потому что я правда старался написать про доброго человека, но у меня не получилось его придумать». На этом страница обрывалась.

Нижняя часть была оторвана. Не аккуратно — рывком. Волокна бумаги торчали, как белые жилы. Егор долго сидел неподвижно. Он помнил теперь красную ручку. Помнил своё раздражение: тема не раскрыта. Помнил, как написал «н/з» почти машинально. Помнил, как подумал: нельзя поощрять демонстративную мрачность. Помнил даже фразу, сказанную Маргарите Павловне в учительской:

— У мальчика явная склонность к сочинительству. Сочинительству. Так взрослые называют детскую правду, когда не хотят ею заниматься. Он перевернул лист. На обороте ничего не было.

Тогда Егор открыл зелёную тетрадь. Последняя страница оставалась прежней: Не ставьте мне снова незачёт.

— Саша, — сказал он тихо.

Собственный голос испугал его. В пустом кабинете имя прозвучало не как имя, а как вызов.

— Я здесь. Ответа не было.

За окном темнело. Ноябрьский вечер приходил в школу рано и безжалостно. Сначала он съедал дальние углы класса, потом парты, потом лица писателей на стене. На портрете Чехов становился почти невидимым, оставались только пенсне и тёмная борода. Толстой уходил в тень с видом усталого судьи. Егор включил настольную лампу.

Жёлтый круг света лёг на тетрадь.

— Я не помню всего, — сказал он.

— Но я попробую. Тишина.

— Я должен был тебя выслушать. И тогда на пустой второй странице зелёной тетради проступила первая буква.

Егор отпрянул, но не закрыл тетрадь. Чернила появлялись медленно, с усилием, как будто кто-то писал издали и путь каждой буквы был слишком долгим. Вы обещали после шестого. Он закрыл глаза.

— Да. Следующая строка: Я ждал.

Егор почувствовал, как внутри него что-то сжалось до маленького, твёрдого комка. Он мог вынести обвинение. Мог бы вынести страшную подробность, угрозу, проклятие. Но это простое «я ждал» было выше его сил.

— Где? — спросил он.

Буквы проступали неровно. У раздевалки. Потом ещё: С портфелем. Потом: Без куртки. Егор резко встал. Стул упал назад, ударился о пол. Он вышел из кабинета так быстро, что даже не выключил лампу.

Коридор был почти пуст. Техничка тётя Валя мыла пол у лестницы, гоняя серой тряпкой мутную воду. Увидев Егора, она выпрямилась.

— Вы чего, Егор Андреевич?

— Раздевалка открыта?

— А куда она денется?

Он спустился на первый этаж. Школьная раздевалка вечером была самым печальным местом в здании. Днём она дышала мокрыми куртками, детским потом, дешёвым дезодорантом, потерянными шапками, ссорами и торопливыми «дай списать». Вечером от неё оставался только железный скелет вешалок и запах сырой ткани. Свет мигал. Егор остановился у входа. В дальнем углу, на крючке под старой табличкой «5 Б», висела детская куртка. Синяя. Тонкая. С оторванным светоотражателем на рукаве. Такую куртку нельзя было купить сейчас.

Она была из другого времени: с дешёвой блестящей подкладкой, с пластмассовой молнией, с пришитой матерью заплаткой на кармане. Егор медленно подошёл. Куртка была сухая. Он снял её с крючка. Она почти ничего не весила. Из внутреннего кармана торчал сложенный листок. Егор развернул его. Там было написано детским почерком: Мама придёт после шестого урока.

Ниже, уже другим почерком, взрослым и красным, было добавлено: Не пришла. За спиной скрипнула дверь. Егор обернулся. У входа в раздевалку стояла Тамара Ильинична. Она смотрела не на него. На куртку. И впервые за все годы, что Егор её знал, она выглядела не строгой, не злой, не уставшей, а старой.

— Откуда это? — спросил он.

Тамара Ильинична молчала.

— Это была его куртка?

Она закрыла глаза.

— Нет, — сказала она.

Егор почти выдохнул от облегчения. Но она продолжила:

— Его куртку тогда так и не нашли. Где-то в коридоре снова прозвенел звонок. Поздний, случайный, неисправный — уроков уже не было. Тамара Ильинична вздрогнула. А Егор вдруг понял, что это не конец школьного дня. Это кто-то звал на следующий урок.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мать, которая не приходила

Тамара Ильинична стояла у входа в раздевалку и не двигалась. Свет над ней мигал, то выхватывая из полумрака её лицо, то снова отдавая его тени. Обычно при таком освещении люди становятся смешными: носы длиннее, глаза глубже, морщины злее. Но директриса не стала смешной. Она стала похожа на старую фотографию, которую слишком долго держали под стеклом: лицо ещё видно, а жизнь из него уже ушла. Егор держал синюю детскую куртку в руках. Она была лёгкой, почти невесомой.

От неё пахло пылью, сыростью и чем-то сладковатым, старым, как пахнут забытые вещи в чуланах, где хранится не одежда, а время. Подкладка шуршала под пальцами. На левом рукаве болталась оборванная нитка от светоотражателя.

— Его куртку тогда так и не нашли, — повторила Тамара Ильинична.

Сказав это, она будто сама испугалась своих слов.

— Тогда? — спросил Егор.

— Не надо, а?

— Что значит «тогда»?

— Егор Андреевич, положите вещь на место.

— Вещь?

Он сам услышал, как изменился его голос. В нём появилась не сила, нет, скорее та опасная слабость, от которой люди иногда говорят правду, потому что уже не могут больше держать её зубами.

— Вы называете это вещью?

Тамара Ильинична выпрямилась. Привычная строгость вернулась на её лицо так быстро, будто кто-то щёлкнул выключателем.

— А как я должна это назвать? Доказательством? Чудом? Вашим нервным срывом? Вы взрослый человек. Вы учитель. Вы хоть понимаете, что происходит, если завтра дети начнут рассказывать родителям, будто у нас в школе появляются мёртвые ученики?

— А они появляются?

Она посмотрела на него так, как смотрят на человека, который намеренно подносит спичку к занавеске.

— Дайте куртку.

— Нет. Слово вышло слишком быстро.

Егор сам удивился, как легко оно сорвалось с языка. Он давно не говорил Тамаре Ильиничне «нет». В их школьном мире это слово вообще произносили редко. Здесь чаще говорили: «посмотрим», «подумаем», «как скажете», «так получилось». Слово «нет» было грубым, почти непедagogичным.

— Не делайте глупостей, — сказала она.

— Я уже делал.

Она опустила глаза на куртку.

— Саша Кораблёв умер двадцать лет назад. Всё, что можно было сделать, уже сделано.

— Кем?

— Взрослыми людьми.

— Вот этого я и боюсь. Между ними повисла тишина. Где-то за стеной зашумела вода в трубах. В пустой школе любой звук становился значительным: щелчок батареи, скрип двери,

далёкий стук швабры. Казалось, само здание слушает их разговор и решает, кого предать первым.

— Его мать, — сказал Егор.

— Как её звали?

Тамара Ильинична поджала губы.

— Вы прекрасно знаете.

— Не помню.

— Это удобно.

Он не ответил.

Потому что она была права. Ничто в мире не бывает так удобно, как забытая вина. Она не болит, не мешает завтракать, не отвлекает на уроках, не портит сон, пока однажды не возвращается в виде детской куртки на старом школьном крючке.

— Валентина, — сказала директриса наконец.

— Валентина Кораблёва. Имя оказалось простым, почти будничным. Оно не ударило, не ослепило. Просто встало перед ним, как женщина в старом пальто у школьной проходной: усталая, виноватая заранее, с пакетом в руке.

— Она приходила? — спросил Егор.

— Куда?

— В тот день.

— Нет.

Ответ прозвучал слишком быстро.

— Вы уверены?

— Я была тогда завучем. Я вела журнал посещений. Я разговаривала с милицией. С матерью тоже пытались связаться.

Она не пришла.

— А записка?

Он поднял листок. Мама придёт после шестого урока. Красная приписка снизу горела в тусклом свете: Не пришла. Тамара Ильинична отвернулась.

— Дети пишут всякое.

— Красной ручкой писал не ребёнок.

— Положите это в кабинет. Утром я вызову участкового.

— Зачем?

— Затем, что вы нашли старую вещь неизвестного происхождения.

— В школьной раздевалке.

— Именно.

— На крючке с табличкой «5 Б».

Она резко повернулась.

— В этой школе двадцать лет всё висит не там, где должно. Не ищите в беспорядке промысел.

Егор усмехнулся.

— Вы всегда так хорошо говорите, когда нужно не отвечать. Её лицо потемнело.

— А вы всегда так хорошо молчали, когда нужно было говорить. Это попало точно.

Он опустил глаза. Куртка вдруг показалась тяжелее.

— Что случилось с Валентиной Кораблёвой? — спросил он.

— Уехала.

— Куда?

— Не знаю.

— Когда?

— После похорон.

— Были похороны?

Тамара Ильинична вздрогнула еле заметно.

— Господи, Егор Андреевич, что вы хотите от меня услышать?

— Правду.

Она тихо рассмеялась. Смех был короткий, сухой, без веселья.

— Правда — это роскошь, которую чаще всего требуют те, кто не собирается платить по счетам.

— Я заплачу.

— Вы уже однажды не заплатили.

Егор хотел спросить, что она имеет в виду, но в этот момент в конце коридора погас свет. Одна лампа. Потом другая. Потом третья. Темнота пошла к ним по коридору, как человек, который не торопится, потому что знает: всё равно успеет. Тамара Ильинична побледнела.

— Пойдёмте, — сказала она.

— Закрываем школу.

— Куртку я заберу.

— Нет.

— Тогда я оставлю её у себя в кабинете.

— Егор Андреевич...

— Вы можете вызвать участкового, врача, министерство образования, самого Господа Бога с проверкой документации. Но эту куртку я не отдам.

Она посмотрела на него долго.

В этом взгляде не было только злости. Там был страх. И ещё что-то хуже страха: усталое знание, что беда, которую много лет держали под крышкой, снова начала дышать.

— Вы не понимаете, — сказала она тихо.

— Они приходят не к тем, кто виноват больше всех.

— А к кому?

— К тем, кто ещё способен помнить.

Она пошла к лестнице. Егор остался на месте.

— Они? — спросил он ей в спину.

Тамара Ильинична не обернулась.

— Закройте раздевалку, когда закончите. Утром куртки в кабинете не было.

Егор пришёл в школу раньше обычного. Город ещё только просыпался: дворники скребли лопатами серый снег, у остановки мёрзли люди с лицами, заранее обиженными на день, из столовой пахло сырниками и кипячёным молоком. В учительской тихо бормотал старый чайник. Где-то наверху пятиклассник репетировал наизусть басню и сбивался на одном и том же слове. Всё было настолько обыкновенным, что вчерашнее казалось дурным сном. Так всегда бывает с ужасом. Ночью он имеет власть, утром — требует доказательств. Егор открыл кабинет литературы.

Лампа была выключена. Зелёная тетрадь лежала в ящике, как он её оставил. Украденный лист из личного дела Саши — тоже. А куртки не было. Он проверил шкаф. Подоконник. Пространство за книжной полкой. Даже мусорное ведро, хотя понимал нелепость этого движения. Куртка исчезла. На учительском столе лежал листок. Обычный лист из школьного блокнота для замечаний, сероватый, с синей клеткой. Егор не сразу понял, что его смутило. Потом понял: почерк был взрослый. Не детский. Женский, неровный, с длинными хвостами у букв, будто рука писавшей дрожала. На листке было всего одно предложение: Я приходила. Егор сел.

Он хотел подумать спокойно, последовательно, как человек, привыкший разбирать тексты. Кто написал? Когда? Как попал в кабинет? Что это значит? Но вместо мыслей в голове стояла одна картина: женщина в старом пальто стоит у школьных дверей и говорит охраннику, завучу, учителю, кому угодно: «Я пришла за сыном». А ей отвечают: «Подождите». Или: «У

нас урок». Или: «Он сам ушёл». Или вовсе ничего не отвечают, потому что взрослые особенно охотно молчат, когда ребёнок уже не может подтвердить их ложь. Звонок на первый урок прозвенел так резко, что Егор вздрогнул.

В кабинет начали входить ученики. Десятый «Б» сегодня был непривычно осторожен. Дети садились тише, чем обычно, не хлопали рюкзаками, не спорили за места. Даже Глеб Ларионов, который обычно входил так, будто школа была не зданием, а его личным видеоблогом, прошёл молча и сел на предпоследнюю парту.

Последняя парта у окна оставалась пустой. Ника Ланцова задержалась у двери.

— Егор Андреевич, — сказала она, — можно вопрос?

— После урока.

— Он опять приходил?

Класс замер. Егор посмотрел на неё. В другое время он сделал бы замечание за тон, за вопрос, за попытку превратить урок в школьную сплетню. Но сейчас увидел, что Ника не играет. Её лицо было серьёзным и испуганным.

— Кто? — спросил он.

— Саша. Имя прозвучало в классе негромко, но сразу всё изменило. Несколько человек обернулись к последней парте.

Кто-то перекрестился так быстро и стыдливо, будто рука сама сделала это раньше мысли.

— У нас урок, — сказал Егор.

— Значит, приходил, — сказала Ника.

Он не ответил. В этот день они должны были говорить о Чехове. О маленькой сцене, где человек произносит ерунду, а за этой ерундой открывается вся его жизнь. Егор читал вслух, задавал вопросы, объяснял, делал вид, что урок существует. Но каждое слово рассыпалось. Дети тоже понимали: настоящий текст сегодня лежит не в учебнике. На середине урока с последней парты упала ручка. Все услышали. Ручка покатила по полу и остановилась у ноги Егора. Обычная синяя ручка. С дешёвым прозрачным корпусом. Такими писали в школе всегда, во все годы, во все времена, будто сама вечность закупала их оптом.

Егор поднял её. На последней парте никого не было.

— Чья? — спросил он.

Никто не ответил. Ника медленно сказала:

— Её не было.

— Что?

— Ручки. Там ничего не было.

Егор положил ручку на свой стол.

— Продолжаем. Но продолжать было уже невозможно. После уроков он пошёл в архив. Школьный архив находился за актовым залом, в маленькой комнате без окон, где пахло картоном, мышами и старым клеем. Там хранились личные дела, списанные журналы, приказы, грамоты, коробки с фотографиями выпускников, никому не нужные стенгазеты и протоколы педсоветов — то есть вся официальная память школы, тщательно сложенная так, чтобы в ней ничего нельзя было найти. Ключ был у секретаря. Секретарь Зоя Петровна сначала сказала, что Тамара Ильинична запретила выдавать архивные материалы.

— Она прямо мою фамилию назвала? — спросил Егор.

— Нет.

— Тогда дайте ключ.

— Но она сказала: никому.

— Я и есть никто. Зоя Петровна посмотрела на него с жалостью, как на человека, который слишком точно себя описал, и выдала ключ. В архиве было холодно.

Егор включил лампочку под потолком. Она загорелась не сразу, сперва несколько раз щёлкнула, будто решала, стоит ли освещать то, что столько лет лежало в темноте. Он нашёл

коробку с надписью «2006-2007». Потом журнал посещений. Потом папку с приказами. Потом ещё одну, тонкую, без названия. Руки покрылись пылью. Он листал страницы медленно, боясь пропустить фамилию. Кораблёва Валентина Сергеевна. Фамилия всплыла внезапно в журнале вызовов родителей.

Дата: 14 ноября 2006 года. Рядом — запись: «Вызвана по вопросу поведения и успеваемости сына». Напротив графы «явка» стояло: Не явилась. Егор провёл пальцем по строчке. Чернила были другого оттенка. Не то чтобы это бросалось в глаза сразу. Нет. Но красная запись «не явилась» была сделана более тонкой ручкой, чем соседние отметки. И буква «н» в слове «не» отличалась от почерка Тамары Ильиничны, который Егор знал слишком хорошо: её буквы всегда были сжатыми, строгими, словно построенными на линейке. Эта запись была чужой. Он перевернул страницу.

На обороте, внизу, почти у самого корешка, пряталась ещё одна пометка карандашом: приходила в 13:40, направлена к Е. Л. Егор замер. Е. Л.

Егор Ланцов. Карандашная запись была слабой, почти стёртой. Может быть, её пытались стереть. Может быть, время сделало это само. Но буквы ещё держались на бумаге, как человек держится за край, когда под ним уже пустота. Он сел прямо на коробку с журналами. В памяти что-то шевельнулось. Не воспоминание — его тень. Женщина у двери кабинета. Не старая ещё. Лицо опухшее от плача или от бессонницы. Волосы убраны под платок. В руках пакет. Она спрашивает:

— Вы Егор Андреевич? Он отвечает: — Да, но у меня урок через три минуты.

Она говорит:

— Мне сказали, вы знаете про Сашу. Можно с вами? А он смотрит на часы. Не на неё. На часы. Память оборвалась. Егор сжал кулаки так, что ногти врезались в ладони. Он не знал, было ли это настоящим воспоминанием или мозг, как плохой писатель, быстро сочинил сцену, чтобы заполнить пустое место. Но сердце уже знало. Сердце узнаёт вину раньше фактов. В дверь архива постучали.

— Егор Андреевич? — голос был женский, старческий.

Он открыл. На пороге стояла тётя Валя, техничка. В руках она держала швабру, как посох. Маленькая, круглая, в сером халате, с лицом, на котором многолетняя школьная усталость стала чем-то вроде достоинства.

— Вы чего тут? — спросила она.

— Ищу документы.

— По Сашке?

Она сказала это просто. Не «по Александру Кораблёву», не «по тому мальчику», а «по Сашке» — так, будто он вчера бегал по коридору и получал замечание за грязные ботинки. Егор почувствовал, что ему стало трудно дышать.

— Вы его помните?

— А как не помнить?

Он всегда у меня в подсобке сидел, когда домой идти боялся.

— Боялся? Тётя Валя посмотрела на него с тем странным превосходством, которое иногда бывает у простых людей перед образованными: вы, мол, книги читаете, а жизни не видите.

— Ну а как же. Мать у него то добрая, то пропащая. Отчим был — лучше бы не было. Мальчонка тихий. Всё рисовал корабли. Фамилия-то Кораблёв, вот он и рисовал. Говорил, когда вырастет, уплывёт.

— Валентина Сергеевна приходила в школу четырнадцатого ноября? Тётя Валя нахмурилась.

— Так это я вам и хотела сказать.

— Что?

— Приходила она. В архиве стало совсем тихо.

— Вы уверены?

— Я может, и полы плохо мою, — обиделась тётя Валя, — но людей помню.

Она в тот день на проходной стояла, платок у неё был зелёный. Пакет белый. В пакете куртка вроде. Или кофта. Я ещё подумала: наконец-то принесла ребёнку, а то он с утра без куртки был. Егор услышал собственное дыхание.

— Без куртки?

— Так он утром в одной рубашке прибежал. Ноябрь, холод собачий. Его Лидия Максимовна ещё ругала, что форма не по уставу. А он молчит.

— Что было потом?

Тётя Валя пожала плечами.

— Потом я полы мыла. Потом уроки. Потом шум был.

— Какой шум?

— Ой, не помню.

Она сказала это слишком поспешно. Егор шагнул ближе.

— Валентина.

— Не надо, а?

— Вы сказали, что пришли сказать.

— Я сказала, что мать приходила. Больше ничего не знаю.

— Знаете. Старуха жала швабру сильнее.

— Знаю, что после таких вопросов люди работу теряют. Пенсии не хватает, Егор Андреевич. Я не героиня.

— Это было двадцать лет назад.

— В школе всё, что было двадцать лет назад, только вчера было. Парты поменяли, дети другие, а страх тот же.

Она ушла, шаркая по коридору. Егор остался среди коробок. На столе перед ним лежал журнал с двумя противоречащими друг другу правдами: чернилами — «не явилась», карандашом — «приходила». Официальная правда и почти стёртая. Первая была аккуратной. Вторая — живой. Он сфотографировал страницу на телефон. Потом нашёл старый адрес Кораблёвых. Улица Заводская, дом 17, квартира 8. После уроков Егор поехал туда.

Заводская улица начиналась за старым хлебокомбинатом, который уже десять лет не пёк хлеб, а сдавал помещения под склады, шиномонтаж и магазин дешёвых дверей. Автобус туда ходил редко и как будто с неохотой. Город на окраине становился ниже, беднее, честнее. Здесь не было новых вывесок и плитки у администрации. Здесь снег лежал чёрными комьями у подъездов, собаки спали под балконами, а дети играли рядом с мусорными баками так спокойно, будто это и есть нормальный двор. Дом 17 оказался двухэтажным баракком с облупленной штукатуркой и деревянными рамами. На двери подъезда висело объявление: Дом признан аварийным.

Расселение планируется. Дата на объявлении была пятилетней давности. Егор поднялся на второй этаж. Ступени скрипели. В подъезде пахло кошками, сырой древесиной и жареной картошкой. На стене кто-то написал маркером: «Здесь живут терпилы». Ниже другим почерком было добавлено: «Зато живут». Квартира 8 была закрыта. На звонок никто не ответил. Он постучал. Тишина. Тогда из соседней двери высунулась женщина в халате, с бигуди на голове и сигаретой в руке.

— Чего надо?

— Добрый день. Я ищу Валентину Кораблёву.

Она раньше здесь жила. Женщина посмотрела на него внимательно.

— Вы кто?

— Учитель.

— Тогда поздно пришли.

Она уже собиралась закрыть дверь, но Егор быстро сказал:

— Я знал её сына. Женщина остановилась.

Сигарета дрогнула в пальцах.

— Сашку?

— Да.

— Все его знали. Только никто не знал вовремя. Эту фразу Егор запомнил сразу.

Она была грубой, кривой, но точной, как ржавый гвоздь.

— Валентина здесь?

— Нет.

— Уехала? Женщина усмехнулась.

— Так вам сказали?

— Да.

— У нас все уезжают, если бумажка нужна. Умер — уехал. Сел — уехал. Спился — уехал.

Пропал — тоже уехал. Красивое слово. Далеко не надо хоронить.

— Что с ней случилось?

— А вы правда учитель?

— Да.

— Из седьмой школы?

Он кивнул. Женщина затянулась и выпустила дым в сторону лестницы.

— Тогда вы у своих и спросите.

— Я спрашиваю у вас.

— А я не люблю чужую беду пересказывать.

Она потом к дому липнет. Дверь почти закрылась.

— Пожалуйста, — сказал Егор.

Женщина посмотрела на него снова. Теперь в её взгляде не было грубости. Только усталость.

— Я её в тот день видела, — сказала она.

— Ваю.

Она бежала. Не шла — бежала. Платок зелёный, пакет белый. Кричит мне снизу: «Раиса, если Сашка придёт, скажи, чтоб ждал дома». А я ей: «Ты куда?» Она: «В школу вызвали».

— Во сколько это было?

— После обеда. Часы я не помню. У меня тогда малой болел, температура была. Но солнце уже низко было. Зима же.

— Она вернулась? Раиса долго молчала.

— Нет.

— Совсем?

— Вечером пришёл мальчишка один, Сашкин приятель. Спросил, дома ли Саша. Я сказала: нет.

Он говорит: «А тётя Валя?» Я сказала: тоже нет. Он постоял и убежал.

— Кто был этот мальчик?

— Да кто их теперь вспомнит.

— Раиса...

— Не вспомню, сказала. Но глаза её отвели ответ раньше, чем рот произнёс ложь.

Егор понял: она помнит.

— Валентина после этого вернулась домой? — спросил он.

— Через три дня. С милицией.

— Что?

— Привезли её. Не знаю откуда.

Она была как неживая. Не плакала, не кричала. Села на лестнице и сидела. Я ей воды вынесла, а она мне сказала: «Он ждал меня после шестого». Всё. Больше ничего не сказала.

— А потом?

— Потом её забрали родственники. Или врачи. Или кто там. Я уже не лезла.

— Она жива? Раиса затушила сигарету о дверной косяк.

— А вы зачем её ищите?

— Хочу понять, что случилось.

— Нет, — сказала она.

— Вы хотите, чтобы случившееся стало понятным. Это разные вещи.

Она закрыла дверь. Егор ещё минуту стоял в подъезде. За стенами жили люди: кто-то ругался, кто-то смотрел телевизор, где смеялись слишком громко, кто-то стучал кастрюлями, ребёнок плакал, мужчина кашлял. Жизнь не то чтобы побеждала смерть — она просто не уступала ей очередь. Он спустился вниз. У подъезда на лавочке сидел мальчик лет десяти и рисовал палкой на снегу корабль. Егор остановился. Мальчик поднял голову.

— Это твой дом? — спросил Егор.

— Нет.

— А что рисуешь?

— Корабль.

— Почему?

Мальчик пожал плечами.

— Сам рисуется.

Егор посмотрел на снег. Корабль был простой: корпус, мачта, парус, волны. Детский рисунок. Но на парусе были три буквы: С. К. Когда Егор снова поднял глаза, мальчика на лавочке уже не было. Только палка лежала рядом. Он не стал её трогать. В школу Егор вернулся уже в сумерках. Формально рабочий день закончился, но в здании ещё горели несколько окон. В кабинете директора шло совещание, в спортзале стучал мяч, на первом этаже тётя Валя снова мыла пол, будто пыталась отмыть не грязь, а саму школу. Егор прошёл к раздевалке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.